

*Анастасия Цветаева*

## КОРНИ И ПЛОДЫ

*По поводу статьи И. Кудровой «Листья и корни». «Звезда», 1976, № 4*

*«Звезда уже обращалась к творческому наследию Марины Цветаевой. Мы познакомили наших читателей с ее автобиографической прозой («Звезда», 1970, № 10), публиковали воспоминания дочери писательницы Ариадны Сергеевны Эфрон («Звезда», 1973, № 6). Наконец, в статье критика И. Кудровой («Звезда», 1976, № 4) предпринята интересная попытка сопоставить автобиографическую прозу Марины Цветаевой и воспоминания ее сестры Анастасии – «показания» сестер, как писал критик, о годах их детства.*

*Вопрос о соотношении биографии и творчества, документального свидетельства и фантазии художника не терпит однозначных, категоричных суждений. Вот почему начатый критиком разговор интересно продолжить.*

*Полемические заметки Анастасии Цветаевой, которые мы предлагаем читателю, содержат, как нам представляется, уточнения, необходимые и важные для всех, кто интересуется жизнью и творчеством Марины Цветаевой.*

1

Мне хочется остановиться на критическом анализе нашего детства – анализе, бросающем, как сказано в статье о Марининых очерках и моей книге «Воспоминаний», два разных луча на совместные детские годы: на различие восприятий наших. Восприятий? Нет, восприятие было не то, что сходное, а как, может быть, бывает у близнецов – *близнецовое*. (Как голоса наши – их не различали). Многие годы мы в унисон читали стихи Марины. Природная одинаковость эта – каждого повышения и понижения голоса – фактор поразительного совпадения восприятий. Ибо интонация – явление не внешне, а внутреннее. И разве только в стихах! И в обычной речи! Не восприятия были разные – разные были *задачи* в воспоминаниях Марины и моих.

При *удивительном* сходстве душевного строя – глубокое различие характеров и стремлений.

Но Марина и я – «свои люди – сочтемся». Ответить же ошибкам критика – мой долг. Но, как в детской игре в горелки, чтобы схватиться за руки, – надо пробежать большой круг расставания – такой я начинаю сейчас: я должна рассказать многое. И прошу большого внимания для трудного бега по кругу: впереди – единение *согласия*.

2

При всей душевной близости нашей к матери – мы уже были детьми нового века. На отвращение матери ко лжи мы отзывались с некоторой глухотой. Мать хотела того же отвращения у нас. Мы же в детских днях ложь – допускали. Но, в то время как я, малодушествуя после поступка своей лжи *стыдилась*, – Маруся отмежевывалась от покаяния – в тайную надменность, в насмешку. Она оставляла за собой право особого

отношения ко «лжи» и «правде», право неотдавания отчета в глубинных своих чувствах – никому. Это оставалось в ней и до взрослых лет, перейдя в «*право поэта*» отстраняться о «человеческих мерок», в неподсудность поэта иному суду, кроме своего. Этому отдана львиная доля Марининых размышлений об искусстве (под названием «Искусство при свете совести»), вначале этому названию *противоречащих* и лишь в конце долгих лет жизни и мыслей об искусстве обретших полностью это заглавие: ибо только последние годы ее трагического одиночества повернули ее лицо к иным мыслям и чувствам.

Но я забегаю вперед.

Я старалась сказать об этом в своих «Воспоминаниях». «Смутно мне открывалась особая часть Мусиных чувств «жажда отчуждения своей радости от других, властная жадность встречать и любить все – одной! Зоркое *знание* (поэта?), что все принадлежит ей, ей, ей – больше, чем всем». Ревность к тому, чтобы другой любил так же, как она, – деревья, луга, путь в Тарусу, весну... Тень *враждебности* падала от ее обладанья книгами, музыкой, природой – на тех (и на меня), кто похоже чувствует. Так было до наших 14-16 лет, до того, когда в первой любви, платонической, в нежном единении, страстное тоскующее требование быть единственной и первой – во всем, полюбили одного – вдвоем.

Однажды семи лет, я без Марины открыла ее парту и стала читать маленькую книжку «Золотые кудри». Что-то восхитительное было в ней: девушка – башня замка, – чей-то далекий путь, разлука, и над полем с костями – ветер и реянье птиц... Сердце пылало почти как у Ундины... Я не успела перевернуть страницу, как вошла Маруся. Она молча подошла, спрятала книжку в парту и оттолкнула меня: «Читаешь чужие книги?» Мой ответ потонул в бурности моего же понимания: просить? невозможно! Разлука с «Золотыми кудрями» была суждена, как разлука героев книги. Маруся унесла ее и никогда не принесла вновь. И я знаю: ее страданье ревности, что в ее «наедине» с книгой вкрался третий, не менее сильно, чем мое горе – о недочитанном»<sup>1</sup>.

Была в Марусе некоторая брешь в ее соотношениях с дурным и хорошим. Со страстью к чему-то и в непомерной гордости она пылко делала зло. Не легко на добро сдавалась! Насмехалась, отрицала суд над собой. В статье своей критик как-то забывает в Марине – существенное, когда живописует ее, тоскующей по ласке, в которой ей (будто бы) отказала мать. Объединенной и упрощенной представляет она е себе (нам). Я не перегружаю мою книгу этой темой, но следует прислушаться к тем проявлениям характера Марины, о которых я рассказала. Ведь они очень не похожи на поступки детей ее возраста, в них пылает яркий огонь ее одиноко горящей индивидуальности. Из всех биографий и сказок – нашелся всего один образ ей родственный: андерсеновская «маленькая разбойница», и Маруся любила ее совсем особенной любовью – иной, чем Русалочку, чем Ундину: в этой любви было некое узнавание себя в ней, молчаливый кивок – родному.

Критик, основываясь на некоторых местах Марининых очерков, перестает задумываться, сопоставлять и, вдохновляясь готовой концепцией (годящейся для другой природы), начинает взывать к жалости – неуместной.

Но вот Марина сама говорит о себе в детстве:

Я люблю такие игры,  
Где надменны все и злы,

---

<sup>1</sup> Из моей книги «Воспоминания», Изд-во «Советский писатель», М., 1974.

Чтоб врагами были тигры  
И орлы.

Чтобы пел надменный голос:  
Гибель здесь, а там – тюрьма,  
Чтобы ночь со мной боролась,  
Ночь сама.

Я несусь – за мной пасти,  
Я смеюсь – в руках аркан,  
Чтобы рвал меня на части  
Ураган.

Чтобы все враги – герои,  
Чтобы войной кончался пир!  
Чтобы в мире было двое:  
Я и мир!

3

Как после этого читать домыслы критика о маленькой Марине: «*И чтобы уж совсем не задохнуться в одиночестве*», она (это есть в очерке) просит младшую сестру «*помечтать*» с ней: «Давай помечтаем! Немножечко помечтаем! Совсем немножечко помечтаем!» И ответ сестры, что она хочет – рисовать. Да, Марина это писала. *Но – надо понять, почему.* Мне хочется себе на минуту представить подобную сцену не на бумаге, а в яви. Думаю, младшая, пораженная таким обращением (громом, раздавшимся над отцовским их домом), осталась бы стоять, глядя на старшую, выронив цветные карандаши и тетрадку, – вместо ответа...

Марина в яви потому не могла сказать этих слов и их не сказала, что всю жизнь *скрывала* свою мечту, ревниво *оберегала*, не хотела делить – ни с кем!.. И критик это знает, сам говорит, даже – утверждает, правильно, Маринино «единоличье чувств».

Но если от писателя требовать одной голой правды, – что случилось бы с литературой? С *волей* автора к данной его концепции? Где закон искусства, запрещающий писателю творить его собственный мир?

Муся, Маруся, Марина! С первых лет – выдумщица – творческие силы несли ее, как молодого коня без удил, по простору, ей одной равному!

Как могла бы она, выросши, проглотив *столько* книг (литературу нескольких стран – юность), пойдя через столько душ и судеб (зрелость), сесть за стол и – *повторять* жизнь, из которой рвалась с первых лет! «Не тот случай» в чернорабочем труде мемуариста...

Я скромно *воссоздавала* быль, Марина создавала – свою. Ей бы просто в голову не пришло спросить себя: а так – *было*? Нищету такого – чьего-то – вопроса она бы просто отвела рукой. Для нее «дом», «семья» были плацдармом. Брала их, как трамплин. «По «памяти» шагала – как человек по луне: шаг – прыжок! Прикоснется к яви – обожжется – отпрянет. Игра идет во весь пыл!

В 17 лет мне – 15-летней – Марина: «Знаешь что? Я тебе расскажу! Только не мешай мне, пожалуйста: приедем в Москву, пойдет слух и никогда не исчезнет: тебя полюбил юноша, его зовут Юрий, он тебя увез на Улай<sup>1</sup>, вы скрылись, за вами была погоня, вас разлучили. У него золотые глаза и светлые кудри, и он ходит так легко, будто не касается земли. Ты его никогда не забудешь – и никому о нем не говоришь...» Смеясь, я сказала: «А если это дойдет до папы?» – «Ну, он же знает, что этого не было! А другие поверят! Ты только молчи! Это и будет похоже на правду!»

Осенью Марина следила за продвижением легенды... Я же улыбалась и молчала. В 1928 году, получив от меня вест, что вдова Иловайского убита, преступники пойманы, идет суд, Марина, не дожидаясь конца суда, – кровь диктовала перу, написала свое виденье убийства, и так написала, что до конца времен живы в читателях: ночь – шорох шагов за дверями, прислушивание, страх жертвы, раскрытые двери, голос: «Входи, ребята...» Дрогнула ли Марина, если ей удалось бы узнать, что жертва, пойманная вечером на улице, убита и засунута в угол двора грабителями, захватившими цепочку с ключами от сундуков.

Ее фантастическая душа бродила среди яви и неяви, как по заколдованному лесу.

Понадобилось для воплощения ее одиночества, и вот родилась мать с *чужой* речью (*жаргоном*): «Ты совершенная дура и упрямее 10-ти ослов!» Так мы громили наших детей, пройдя с ними через войну, разруху и голод, когда они, в тяжкие дни, упорствовали. В то давнее, мирное время дом профессорский наш не слышал такой речи.

Мне поздно пришлось прочесть «Мать и музыка», много поздней написания этой вещи. Великолепные страницы о ее детском восприятии рояля, живейшего из живых существ, анализ «верха» и «низа» (клавиатура), грома первых и еле-слышности последних нот. Кто еще тогда *так* писал? Но – *не заставляла* мать играть восьмилетнюю дочь по 4 часа в день (2 по 2). Два по часу – возможно. Ей они казались – четыремя! С грустью прочла я изобретенный - к роялю и теме – образ матери и свой детский портрет – непохожий. Но пока только ее перо писало такое – я оставляло это на ее творческой совести. Право художника – свободно. Когда же критик начал по-своему строить на таком материале – не задумываясь о причинах его возникновения – в корне неверный образ матери нашей и он входит в литературу – я должна возразить критику. Сказать, кто была мать Марины Цветаевой. Не восставая против права творить, а лишь возражая критику, смешавшему творчество с былью.

А Марина дает мать только музыкантшей, одержимой музыкой, хотевшей только музыки, ломавшей дочь (хотевшую только стихов), мать – борющейся с ее стихами!

Как многие писатели, Марина сдвигает темы и сроки: в 12 лет она несомненно лучше играла Бетховена, чем писала стихи. (Ее 13-летние стихи, еще слабые, приведены до конца в моей книге «Воспоминания». Начинаются так:

---

<sup>1</sup> Пещера за Окой, где когда-то скрывался разбойник этого имени, ныне – каменоломня.

Не смейтесь вы над юным  
поколеньем,  
Вы не поймете никогда,  
Как можно жить одним стремленьем,  
Лишь жаждой воли и добра...

/Революционная зима, 1905-1906 г./)

Исполнительское ее музыкальное дарование развилось ранее стихотворного творчества.

Маруся в те годы мало писала – она глотала книги на трех языках. Но чутье ее не обманывало: музыка ей мешала. Мать умирала, и дочь – ей было еще 13 лет – не оставляла рояля, радуя мать. После смерти матери, растоптав свой второй талант, она целиком отдается слову. С ее стихов пятнадцати лет «Где-то маятник качался...» – они живут только в моей памяти (но я их много лет назад послала в ее архив – ее дочери А.С. Эфрон) – началось мастерство стиха.

6

Начатый в «Открытии музея», все круче растет гротеск. Почему не задумался критик над правом вымысла художника? Юмор почти зловещ. Дом в Трехпрудном (с помощью критика) превращается в некий застеноч. Почему же об этом доме Марина-поэт пишет:

...Детство лучше сказки...

О, как солнечно и как звездно  
Начат жизненный первый том...

Был заповедными соснами  
В темном бору вековом  
Прежде наш домик любимый  
Нежно его берегли мы...

В переулоч сходи Трехпрудный,  
В эту душу мою души...

Как было бы читать мне, если не знать прав художника на вымысел, – что мать прятала от Марины бумагу, чтобы стихов не писала! Что ей *подкладывала* нотную бумагу! И никто не спросил себя: нотную – зачем? Она кончилась еще в бытность Марины – *Мусей*, в 6 лет, когда вглотнув нотные знаки, ключи, паузы, – распахнуты стояли печатные томы с сочиненьями композиторов – и звучал рояль! Нотная бумага нужна композиторам – ими не были ни Маруся, ни мать. Как было бы читать это мне, в доме жившей, – что в нашем профессорском доме от дочери нашего отца жена его, его друг, его секретарь, писавшая на 5-ти языках, *прятала от дочки* – бумагу, чтобы не писала стихов! Да понадобится Марусе хоть раз бумага – я бы, ее младшая, ей носила бы ее горы – с папиного стола! Из корзины под столом, где я царствовала, выбирая для рисования «волшебную», с водяными знаками... Я бы неслась с ней – кабинет – гостиная – зала – по лестнице в детские антресоли, как неслась с куском холодной телятины из буфета, по просьбе Маруси, болевшей, на диете скучавшей, – как неслась лиса с петухом!..

Но так было нужно свободе Маринино пера.

И вот, в «Мать и музыка» рождается невероятная мать, мать в шорах. Мать без палитры, мольберта. Ее картинами была увешана гостиная... Но этой разносторонности Марине – было не нужно в замысле дать свою непонятость даже близкими. *Это* была ее тема!

В помощь, в пояснение критику: *осмеянье* матерью стихов 8-летней дочери перечеркивается сохранившимся *дневником* матери, трепетом *ожиданья, надежды* в самом факте записи: «Моя 4-летняя Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова – в рифмы. Может быть, будет – поэтом?»

И чтобы желать написанья стихов дочерью – надо было стихи *не* любить. И сколько же еще есть людей на свете, их не любящих! Но – «не тот случай!» Зная поэзию всех ведомых ей языков, нам читавшая на трех, нам доступных. Отличайте же быль от художественного рассказа...

А критик принял психологический очерк за быль. И начал сетовать на глухоту «милых, начитанных, интеллигентных» взрослых к ребенку. «Было все, – прочла я, краснея за ошибочный вывод критика: – книги и музыка, и мраморные бюсты богов, не было только сердечности, близости детей и родителей...» Какие, мало сказать, наивные – о нашем доме – слова!

7

И вот появилась «младшая сестра», старшей сказавшая (пишу по памяти, но, пораюсь, запомнила – всем своим существом!): «Я буду ехать в «ландо», а ты будешь сидеть у дороги, ты будешь – собака»... Разве неясно, что такая сестра нацело – вымысел? Тут уже окончательно не вяжется – ничто: ни мое отношение к Марине, ни мое отношение к собаке, ни мое отношение к «ландо»... Будь автор жив, я бы сказала: «Марина! Твоя выдуманная девочка, противопоставляющая «ландо», то есть богатую коляску – собаке! – это противоестественная девочка – на тысячи верст от нашего дома в Трехпрудном – при нашей *страсти* к собакам и кошкам – ты же знаешь, что я за любую из них отдала все коляски всех стран!»

Дочь наших отца и матери не могла мечтать о «ландо» (я и до сих пор не знаю, что это значит!).

Если эти очерки выходили до моего из Москвы отъезда, мне Марина их не присылала! Тогда бы я могла наивно и сгоряча написать ей: «Зачем ты выдумываешь такую, небывшую, мать... А та, с «ландо», сестра твоя, младшая, которую надо было бы уничтожить еще при рождении... Не могла бы стать твоей (из твоих стихов) «неразлучной», в унисон бы не читала стихов!.. Это о ней – ты писала?

Мы быстры и наготове  
Мы остры  
В каждом жесте, каждом взгляде, каждом слове  
Две сестры...

– И куда же «ландо» денем?..»

И Марине нечего было бы ответить!

«И потому что от худшей печали шаг – и не больше – к игре», – она «засмеялась бы и...»<sup>1</sup>  
потянулась бы (вижу жест – так, кстати, собаки тянутся), – и пошел бы у нас *разговор*...

И, может быть, будь я с ней *тогда*, в ее безысходный час, – она бы и сейчас была с нами...  
кто знает... но что говорить?!

8

Так я думала и чувствовала, пока не поняла: да Марина вовсе не нас «искажала», она живописала другое! Вокруг себя.

Центр этих рассказов – Марина. *Ее* – поэта – среди непоэтов – одиночество.

Перед этой задачей – так она чувствовала – бледнели и были и небыль. Какими средствами это одиночество дать? Любыми! Что было под рукой, из того и слепилось. Не нашим домом себя окружила, – а помощью *декораций*, бросивших (как берет в расчет архитектор для живописного углубления зданий, колоннад) тени. Она раздвинула, плечами, семью – и вошла. Раздав нам нужные для замысла – роли. Роды – вокруг нее. Замысел дать такого ребенка требовал жертв. Был нужен фон. Контрастный сюжет делался понятнее зрителю.

Мятежный ребенок и мать-пуританка, не понимавшая дочь!

И стало две матери – та, что жила в душе (и не годилась в пьесу, все усложняла), и та, которую диктовало перо, как контраст с дочерью.

Подчеркивая разницу натур сестер, памятуя беговые коньки младшей, указано, что старшая до последних лет боялась ходить по городу. «До последних лет» означает все предыдущие годы. Этим неверно перечеркнута молодость Марины, ходившей по горам с М. Волошиным, с С. Эфроном, облазившей с ними весь Карадаг *сильными*, как у лани, ногами.

Я поднимаюсь по пыльной дороге,  
Белой, звенящей, крутой.  
Не устают мои легкие ноги  
Выситься над высотой...

/Стихи к Пушкину, 1914/.

Так, стилизуя Марину, критик впал в недоверность.

Лишь в годы вдали от родины, отвращаясь уличного движения Европы (плюс природная близорукость), она не рисковала одна ходить по Парижу.

Далее:

---

<sup>1</sup> Стихи Марины к Пушкину.

Младшая названа «любимицей» матери, старшей же подарен титул «отверженности». Это совершенно неверно. Уже юношей старший брат, пасынок матери, не раз бросал нам: «Ваша мать (в те задорные годы он уже не говорил «мама», как все 12 лет, прожитые им с нашей матерью и нами<sup>1</sup>), ваша мать меня любила больше, чем вас! Будь я любимицей, если бы так говорили в доме, разве он не сказал бы: «меня – больше Аси»? Смысл его вызывающих слов был тот, что он, пасынок, был наравне с родными дочерьми. Его, сироту, жалела, им, красавцем, любовалась. Мариной – гордилась. Меня, побывавшую при смерти, берегла.

Летом 1905 года. Шварцвальд. Мы бродим вдвоем по лесу, фантазируем: а что если бы вдруг мы оказались детьми – дровосека? И, как ни старались, не вышло представить других родителей – корни родства были слишком глубоки. *Не* получалось у нас сказки Шварцвальдского леса!.. «А ты можешь себе представить, ну представь себе вместо мамы – другую мать?» И *обе*, в унисон: «Нет, конечно...» (мать без Наполеона, Сократа, доктора Газа, без рояля, мольберта, письменного стола...). – «А отец? Не папа?» Отец без Музея какой-то совсем другой... И мы уже смеялись вовсю!

Голову даю на отсечение, что и в тысяча тридцать пятом образ матери жил в душе Марины – не тронутый. И как мог такой образ – не жить?..

9

Прочтя статью И. Кудровой «Листья и корни», ознакомься и со статьей ее «Если душа родилась крылатой», один читатель, человек высокой культуры, написал мне:

«Вот в чем, кажется мне, основная ошибка критика: относясь к стихотворному наследию Марины Цветаевой как к пропущенному через личность поэта плоду творчества, прозу ее критик почему-то считает строго документальной, т.е. относящейся к правде факта, а не к правде особого поэтического бытия (часто – *вымысла*). Между тем – всё это создание *одного автора*. Нужно искать корней и того и другого, имея в виду, что в обоих случаях жизненные реалии пропущены через магический кристалл души художника».

Да... Что значит «было ли»? – вот оно есть! Важно ли, что *Маринина* «Сонечка» говорит *Марининым языком*, что Маринин «Володя» (из повести «Сонечка») – Маринин идеал мужественности – думаю, – ею на страницах рожденный... И «Сонечка», и «Володя» живут в русской литературе, их слов и поступков ждут читатели. Вопрос же о том, что этого «не было», никого не тревожит. Мне, знавшей Марину так, как я ее знала, и знавшей ее перо – ясно: та молоденькая, обаятельная, талантливая актриса Сонечка – была благодарной почвой для создания настоящей «Сонечки», которая заговорит, загоревшимся языком, в котором родятся и процветут мысли и чувства Марины. Важно ли, что, может быть, никогда такой не была живая. А на обороте медали – никогда не бывшая, нужная ей для контраста с девочкой Мариной, упрощенная, упрощенная, одержимая одной музыкой, не хотящая стихов, – мать...

---

<sup>1</sup> В 1902-1906 годы он жил у своего деда Д.И. Иловайского, не позволившего ему бросать русскую гимназию и ехать с нами за границу. Русский историк хотел, чтобы внук его рос – русским.



Одновременно я получила письмо другого читателя, прочитавшего статью И. Кудровой «Листья и корни» и мой ответ на нее. Вот, что он пишет: «Анализ двух проз, двух видений документального и художественного изображения жизни – сам по себе ценен» (читаю и думаю: если бы критик не принял художественное – за документальное)...

Читаю дальше: «Но мне представляется еще более важным другой результат статьи «Листья и корни»: благодаря этой статье мы получили работу более глубокого, критического подхода. Анастасия Цветаева рассказала нам, читателям, новую сторону творчества сестры своей Марины Ивановны, – а именно – богатую художественность ее автобиографических очерков, зная теперь, где М. Цветаева создавала «быль» и эта быль имела место, мы, читатели, глубже проникаем в творческую лабораторию писателя».

Если первый читатель неправ, – то вместе с его утверждением приходится осудить всю художественную литературу, ибо она вся пропущена через бесчисленные «магические кристаллы» писателей. Примеров можно привести, сколько не устанет перо.

Если не ошибаюсь, насколько мне известно, Льву Николаевичу Толстому едва ли было больше года, когда умерла его мать. А какой образ ее создан на страницах «Детства» и «Отрочества»!

Вот что пишет Фейхтвангер об «Исповеди» Руссо: Объективное исследование на основе достоверных данных показало, что многое из описанного Жан Жаком либо вообще не было, либо происходило не так, как он описывает». (Мудрость чудака, или Смерть и преобразование Ж.Ж. Руссо», стр. 441).

Еще имя: Пушкин. Превознося его превыше всего, Марина утверждает за ним право обращаться с материалом, как он хочет. Восхищается его свободой (и как ей возразить? На закваске писателей подымается и дышит вся мировая литература! И кто возьмется осудить литературу за пестроту замесов?). Марина пишет о Пушкине:

«...Теперь – очная ставка дат: «Капитанская дочка» – 1836. «История Пугачевского бунта» – 1834. И наш первый изумленный вопрос: как Пушкин своего Пугачева написал, зная? Будь «Капитанская дочка» написана первой, было бы естественно: Пушкин сначала своего Пугачева вообразил, а потом – узнал. Но здесь он сначала узнал, а потом вообразил. Тот же корень, но другое слово – преобразил».

И об этом: ...«Обман?» «По сему, что поэт есть творитель, еще не наследует, что он лживец, ибо поэтическое вымышление бывает по разуму так, как вещь могла и *долженствовала быть*» (Тредиаковский).

10

К чему множить примеры из литературы? Она не базируется на фактах летописи. Ее обоснование гнездится в потребности писателя так или иначе, для той или иной цели видоизменять жизнь.

А если так, то жаль мне, что критик берет себе ошибочное право смешивать художественную литературу – с былью. Писать: «Мать Марины, видимо, за всю жизнь не сказав ей и нескольких ласковых слов...» В то время как все стихи Марины к матери противоречат этому.

В статье «Листья и корни» идет также разбор биографической книги сестры Марины Цветаевой («Воспоминания»). А чтобы *разбирать* книгу – надо ее *хорошо знать*. Страницы ее изобилуют повествованием именно о ласке к нам матери, вполне совпадая со стихами Марины о детстве.

Разве нет вечеров наших с матерью (стихи Марины «Курлык», «Волшебный фонарь», вторая книга стихов, 1912), втроем, под шубой – и через годы, в Лозанне (в моей книге и стихах Марины «В Оuchy»<sup>1</sup>), в комнатке, с русским чаем, с памятью о России. Во Фрейбурге в субботы и воскресенья, когда, отпущенные из строгого интерната, мы оживали в материнской ласке, рассказывая ей все события за неделю, вспоминая теперь уже и Лозанну, и Италию, и Москву. ... Одним вековечным движением («в унисон» – как голоса наши) прижавшись к матери справа и слева, тоскуя о близкой разлуке, а она читает нам вслух, утешая и отвлекая, и не можем мы надышаться близостью равно обожаемой и (что бы ни писал критик о разнице ее отношения к нам), равно нас обожающей матери! От критика можно ждать большего проникновения в творчество...

Любовь реальной матери к нам и ее справедливость ни разу не предпочли ни меня – Марине, ни Марину – мне. И это не только мое утверждение: не об этом ли Маринина «Сказка матери».

Две свечи (по уговору с разбойником зажженные в лесной часовне), свечи, знаменовавшие дочерей, (та, чья свеча сгорит раньше, будет убита), – горели совсем ровно, сгорели ни на миг одна раньше другой – как мать *нас любила*. Этой сказки не понял критик.

11

«Марина узнавала в себе – мать», – с разбегу впадает критик – закругляя фразу – в ошибку: «но мать себя в дочери не узнавала». Откуда такая смелость обращения с материалом – отсутствующим? Данных на такое утверждение – нет. Но данные есть – на обратное: именно в Марине мать себя узнавала: в таком строптивом ребенке – увлечение теми же самыми историческими героями. И в талантах себя узнавала: литература, языки, музыка... Я же была еще совершенным ребенком, когда умерла мать.

Задумайся критик над всеми неувязками между реальностью моих «Воспоминаний» (совпадающих со стихами Марины о детстве) и гротеском Марининых очерков, – стала бы ясна служебная роль, данная Марининой матери и сестре в этих очерках – *для ее темы одинокого ребенка*.

«Листья и корни» называется статья И. Кудровой. Листья – явны: изучив состав и движение соков, о листьях можно судить. Корни же скрыты, и глубже, чем кажется. Ползучие, переплетаются. Надо изучить извилины и сплетенья и уметь с них стряхнуть приставшие комья земли.

---

<sup>1</sup> Уши – набережная в Лозанне.

Как удивительно! Критик ошибается в рассказах о детстве; в момент, когда надо крепко задуматься, рыться в этих сложных корнях, дорыться до правды, – он делает поспешный вывод, не сопоставляет трудно сопоставляемое, не добивается победы понимания... И тот же критик хорошо разобрался в сложнейшей картине поэтического творчества поэта! (Статья «Если душа родилась крылатой», «Север», 1977, № 6). Критик дает бескорыстие поэта, великодушие, щедрость, способность к восхищению другими, к самоотречению – все так нелегко уловимое в непомерном разнообразии стихийных сил поэта, – все подытожено критиком, оставляя в читателе глубокий след...

О сравнении Мариной и моей прозы – эту тему затронул критик – во мне давно живет такой образ:

*Горный водопад* – Марины проза! Моя – река, текущая по долинам. Исток один – с гор. Но путь и течения – разные. Для зеркальной реки закон отражения – явь. Водопадом, бурей его, явь – разбивается...

Но есть три написанных Мариной портрета, где она – *летописец* (и какой!). Это портреты высокого мастерства и поразительного сходства. «Живое о живом» (о Максимилиане Волошине), «Пленный дух» (об Андрее Белом) и «История одного посвящения» (об Осипе Мандельштаме). Это – воспоминания о пережитом. Не был нужен ни контрастный фон, ни декорация. На авансцене – они, каждый в свою очередь. Марина воскресила свои дни с ними. Памятью и любовью.

Но вернемся к теме.

Пора, наконец, вспомнить, что Марина была не только прозаик, вспомнить стихи Марины! Никого не укоряя, не обвиняя и, кажется, объяснив, что могла, я раскрываю один за другим сборники стихов Марины и читаю воспоминанья о матери:

## В ОУЧУ

Держала мама наши руки,  
К нам заглянув на дно души.  
О, этот час, канун разлуки,  
О предзакатный час в Оучу!

– «Все в знаньи, скажут вам науки...  
Не знаю... Сказки – хороши!»  
О эти медленные звуки,  
О эта музыка в Оучу!

Мы рядом. Вместе наши руки.  
Нам грустно. Время, не спеши!..  
О, этот час, преддверья муки,  
О вечер розовый в Оучу!

*/«Вечерний альбом», 1910/*

Преддверием муки назван час расставания с матерью, она уезжала лечиться.

Вот второе:

МАМЕ

Как много забвеньем темным  
Из сердца навек унеслось!  
Печальные губы мы помним  
И пышные пряди волос.

Замедленный вздох над тетрадкой  
И в ярких рубинах кольцо,  
Когда над уютной кроватью  
Твое улыбалось лицо.

Мы помним о раненых птицах  
Твою молодую печаль  
И капельки слез на ресницах,  
Когда умолкала рояль.

И вот третье стихотворенье<sup>1</sup>, четыре года спустя после смерти матери. Образ – тот же, что в моих «Воспоминаниях», написанных через пятьдесят лет.

МАМЕ

В старом вальсе штраусовском впервые  
Мы услышали твой тихий зов.  
С той поры нам чужды все живые  
И отраден беглый бой часов.

Мы, как ты, приветствуем закаты,  
Упиваясь близостью конца.  
Все, чем в лучший вечер мы богаты,  
Нам тобой вложено в сердца...

...Все бледней лазурный образ – детство,  
Мы одни на палубе стоим,  
Видно грусть оставила в наследство  
Ты, о мама, девочкам своим!

И мрачные стихи «Столовая», где дано – отсутствие семьи, написаны в годы уже без матери, о которых в моей книге сказано: «Ее отсутствием был полон дом».

Быть может, кто-нибудь скажет: «В юные годы все кажется человеку светлым, и он проектирует этот свет и на мрачное, – отсюда молодые стихи к матери». Но биограф и

---

<sup>1</sup> «Вечерний альбом», 1910 г.

критик должны знать, что именно юные годы Марины (до ее встречи с Сергеем Эфроном), девичество ее были печальны. Ведь именно в 17 лет она пыталась покончить с собой. Но к чему ломать копыя! Вот Марина говорит о себе и о матери в автобиографической анкете – в годы ее жизни во Франции.

«...Мать – редкостно одаренная. *Стихи – от нее*».

И после свидетельства об отце, его даре созидателя, бескорыстии, щедрости, трудолюбии – ею, дочерью, унаследованном, – главенствующее влияние – матери (музыка, природа, стихи, один против всех. Heroica).

Круг завершен. Как в детстве в игре в горелки, победив разлуку, мы схватились за руки, Марина и я, мы – вместе! «Свои люди – сочтемся»? Сочлись!

...Все сложнее было в этой семье, чем представил себе, схематизируя и упрощая, критик. Будем ждать мудрого углубленного исследователя, который задумается над тем, что я сообщила, и сведет с концами – концы.

Я только *наметила вехи*.

Скоро и мне – исчезнуть из жизни, как исчезли наши мать и Марина. Это за них я, рано ушедших, прожила столько лет! Мне идет восемьдесят пятый. Я должна была сказать то, что сказала. Это мой долг – перед литературой. И летописный долг – за обеих нас – перед матерью.

"Звезда", 1979, № 4, с. 186-193.